

Берегите нас, поэтов,  
Берегите нас.

Булат Окуджава

Станислав РАССАДИН

Как известно, вскоре после есенинской смерти Маяковский написал стихи-реквием, или, скорее, стихи-спиритизм. Нет, не совсем так. Не сама по себе смерть оказалась толчком к созданию стихотворения «Сергею Есенину», но — общественная реакция, если этим холодным словом можно назвать не только некрологи и статьи, а и череду, почти эпидемию самоубийств, последовавшую за уходом любимого поэта и за его прощальным словом: «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». «С этим стихом», — сказал Маяковский, — можно и надо бороться стихом и только стихом». Так и возник полемический парадокс есенинского прощания: «В этой жизни умереть не трудно. Сделать жизнь значительно труднее».

Надо быть большим негодяем, чтобы хихикать по тому поводу, что всего через четыре года после написания этой отповеди сам поэт-полюстим покончил с собой. Дело, однако, в том, что и тут, в смерти, оба они, соперничавшие при жизни, оказались в положении категорически равном, — имею в виду все ту же реакцию. Не властей, не прессы, а тех, кого снисходительно называли уличей, хотя надо бы — народом.

Всем памятно предсмертное письмо Маяковского. Трагический документ государственного человека, который свое прощание с миром открывает громкогласным обращением: «Всем!», оправдывается перед рапповцами, спорит с ничтожным Ериловым. И насколько — ну, скажем, интимнее, проще, общепонятнее уход Есенина — при всей романсовой надвигности процитированных строк.

В этих немудреных сентенциях — «не ново... не новей», — в этой трогательнейшей банальности, в этом никем не оставленном Есенина желании выглядеть перед уличей и ее поэтом — своего рода, по моему мнению, неуступчивость. Независимость — да, да, это при его-то всеобщем желании нравиться.

Замечательно, что та же улица вдруг напала на Маяковского, что и он — поэт, как бы старательно ни притворялся чем-то иным, как бы ни наступал подкованной заграничной подошвой на хрупкое горло своей лирической песни. Его письмо запели нищие и беспризорные в поэдах, прочитав, услышав его по-своему:

Товарищ правительство, пожайте мою маму

И белую лилию, сестру.  
В столе лежат две тыщи.  
Пусть финиспектор азычит,  
А я себе покойничку помру.

Как было? «Товарищ правительство! Моя семья — это Лилия Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты обеспечишь им сонную жизнь — спасибо». И вот деловитые строчки, указывающие на заслуги покойного, достойные пенсия его семье, у поездного певца преображаются в эмансипированную Лилию Юрьевну в вечный символ женственности: «В лилию», — обращение к власти звучит человеческой просьбой, которая, с точки зрения «средних людей» (выражение Зощенко), выражает наиболее понятную форму их отношения к государству: «пожайте».

А Есенин... Его прощальный привет стал песней мгновенно, не потребовав переделки, разве что продолжался, обстая — с легкой руки Вертинского, по мановению его длинных пальцев — новыми строчками: «До свиданья, друг мой, догоришь свечки...» — и т. п. Есенин как был, так и остался своим. Плоть от народной плоти. Дух от духа. И попытку это именно так, как казалось бы, не понять тех, кто то и дело воскрешает версию — будто Есенин умер не сам, ему помогли умереть «враги народа»?

Так испуганно в снежную выдубль  
Заметалась звенящая жуть.  
Здравствуй ты, моя черная гильза,  
Я настрелю к тебе выхожу!  
...Пусть для сердца тягуче колко,  
Эта песня зеринных прав.  
Как охотники травят волка,  
Зажимая в тиски обаяв.  
...О, привет тебе,

зверь мой любимый!

Ты недаром даешься ноку!  
Как и ты — я, отсюда зонимый,  
Средь железных врагов прохожу.  
Как и ты — я всегда наготове,  
И хоть слышу победный рожок,  
Но отпиротев вражеской крови  
Мой последний,

смертельный прыжок.  
Сергей Есенин

Мне советовали выкрасить кожу. Не-  
лестный ли волк, стрижень-  
ный ли волк, он все равно не похож  
на пуделя. Со мной и поступили как с вол-  
ком.

Михаил Булгаков

Мне на плечи кидается век-волкодла...  
Осип Мандельштам

Идет охота на волков, идет охота...  
Владимир Высоцкий

«Я верую в пророчества пивов», — ска-  
зано в «Борисе Годунове». Правда, говорит  
это Гришка Отрепьев, поощряя холуя-сти-  
хотворца, который предсказывает самозван-  
цу победу и получает за то награду. Так  
что Пушкин здесь достаточно ироничен, и  
жаль, что мы, подхватив у него вполне  
серьезное сравнение поэта с пророком, не  
корректируем эту серьезность хотя бы до-  
лей его же иронии.

Когда Цветаева просит у Бога: «Дай мне  
смерть», можно ли говорить, что она напро-  
сто заявила свою петлю в Елабуге? И да, и нет:  
ведь эту просьбу я вырвал из строк, где  
она, в сущности, ничуть не трагична: «Ты  
дал мне детство — лучше сказки и дай мне  
смерть — в семнадцатый лет!» Писано как  
раз в пору семнадцатилетия, на четвертый  
день после именин, и, в общем, является не  
более чем поэтическим вариантом бытового  
«умри я на этом месте» — в чем, в чем, а  
уж в этой поговорке, как ни беиса, про-  
рочества не заподозришь. Или — вот случай,  
более чем часто понимаемый в связи с мыс-  
лою о «пророчествах пивов» — строки по-  
этов-фронтовиков, еще накануне войны  
угадывавшие свою гибель: «Мы, любастые  
мальчишки невиданной революции... в двад-  
цать пять внесенные в смертные религии»

(Павел Коган). «Вы в книгах прочитаете,  
как миф, о людях, что ушли, не долбив,  
не докурив последней папиросы» (Николай  
Майоров). И ушли, не вернулись — и Май-  
оров, и Коган, и другие, но верно ли на-  
зывать пророчеством, которое всегда индиви-  
дуально, то, что было очевидно многим, чу-  
ющимся приближением страшной войны?

Правда, есть особые случаи. Та же Лилия  
Брик справедливо заметила, как постоянна  
в поэзии Маяковского тема самоубийства. А  
Есенин — хотя бы со стихами об обречен-  
ном волке, в котором поэт видит товарища  
по несчастью? А — Мандельштам, Булга-  
ков, Высоцкий?

Что до Есенина, можем продолжить: «Ес-  
ли раньше мне били в морду, то теперь вся  
в крови душа... И эту гребовую дрожь как  
ласку новую приемлю... Оттого пред сонмом  
уходящих я всегда испытываю дрожь». Дей-  
ствительно — всегда, постоянно, как будто  
зовет и торопит свой конец, но задумываясь  
о том, что обычно чем чаще говорят о  
смерти, тем больше ее страшится и не хо-  
тят. О патологических исключениях не го-  
ворю — разве Есенин и патология совме-  
стны?

Да, все знаем: об алкоголизме, разруша-  
вшем тело и душу, о скандалах и прочем, но

самого. Он играл, когда явился в салон  
Гиппиус и Мережковского в бубне, пора-  
зившей Зинаиду Николаевну. «Как на вас  
странные тетки», — сказала она, направив  
на есенинские ноги лорнет, а он ответил —  
будто бы простодушно: «Это валенки». Он  
играл и тогда, когда они с Николаем Кле-  
вым, оба еще неизвестные, взяли по ведру с  
краской, кисти и пришли на дачу поэта Го-  
родецкого, в ту пору — знаменитости и мэ-  
тра, красить забор за соблазнительно ма-  
лую цену. Покрасили, пошли, как водится,  
на кухню за харчем и магарычом и, к изум-  
лению хозяина, начали читать стихи. В об-  
щем, как заметил иронический Виктор  
Шкловский, «доставили Сергею Митрофа-  
новичу Городецкому удовольствие себя от-  
крыть».

Когда-то Петр Яковлевич Чаадаев, по ча-  
сти иронии и язвительности ни с кем не  
сравнимый, заметил, что, когда славянофил  
Константин Аксаков появляется на моско-  
вских улицах в костюме, который считал  
истинно русским, народ принимает его за  
персиянина. Что до Есенина, то не нужно  
иметь ни единого чаадаевского ума, ни  
рекламерского опыта Маяковского, чтобы  
увидеть в его лаптях и рубашке с крестика-  
ми — как позже в блестящем цилиндре,

«Все молчали. Лица были взволнованы и  
строги. Лишь один пожилой турист со зна-  
чением выговорил:  
Да, были люди...»

Правда, по другой версии, исходящей от  
доловотских друзей, некие старушки-пуш-  
кинолочки, наоборот, в ярости попытались  
побить незадачливого эрудита зонтиками,  
но, знаете, почему-то верится в первую  
версию. Тут ведь не только ошибка автора  
и невежество его слушателей — а ежили и  
невежество, то не совсем того рода, как во-  
прос, заданный тогда же тому же Долова-  
тову: «Была ли А. П. Керн любовницей Есе-  
нина?» Есенин, принятый за Пушкина, —  
это произошло помимо всего прочего от за-  
чарованности нежностью и гармонией, тем,  
что всегда, при всех броских различиях,  
родственно.

Да! Есенин — с его судьбой, завершив-  
шейся в петле, с непростым, деликатнейше  
выражаясь, характером, с нескладным,  
скандальным, нервным бытом — по  
складу своего дарования был предназначен  
для радости. Притом — долгой. Он был ро-  
жден для того, чтобы стать воплощением  
любви, и в этом его... Счастье? Пожалуй,  
но скорее для нас. Для него это обернулось  
несчастьем — и вполне закономерно. Это

телепередач и статей, обвиняющих в убий-  
стве... Кого? Евреев? Гебистов? Евреев-ге-  
бистов? Выбор не сильно широк, но упорст-  
но в отыскании неوبرимо. Хотя мало того,  
что на этот счет есть ряд разъяренных спе-  
циалистов (мне особо запомнилась статья  
профессора Б. Садковского в «Независимой  
газете» трехлетней давности), — но как же  
эта шпиономания отводит от действитель-  
ной драмы, определенной Блоком, который  
поставил диагноз своей и не только своей  
судьбы: «...Поэт умирает, потому что ды-  
шать ему уже нечем...» И вряд ли те, что  
шарят в потемках, ища по углам террори-  
стов, понимают: они умиляют угрозу, опо-  
шляют мольбу художника: «Берегите нас,  
поэтов...» (ведь не телехранителей же он  
просит!). В общем, сводят трагедию суще-  
ствования к частной злокозненности. В  
самом деле — подумай, некий подослан-  
ный убийца (даже если за ним «органы»),  
некий заговор или вроде того, то есть, в  
сущности, та или иная случайность, чья-то  
личная, пусть могущественная, злая воля.

Я сказал: Есенин был рожден, предназна-  
чен для радости и гармонии, для счастья,  
которое он хотел делить со всеми: «Счасть-  
ем, тем, что целовал я женщин, мля цветы,  
валялся на траве и зверье, как братьев на-

могилу Гумилев и Мандельштам, кончив-  
ший с собой Маяковский, «всего лишь» за-  
гнанные Ахматова и Пастернак. Но в этот  
трагический хор Есенин внес свою и только  
свою шепчущую, теноровую ноту.

Я жил в одной квартире с Ильфом.  
Вдруг поздно вечером приходит Катаев и  
еще несколько человек, среди которых  
Есенин. Он был в смокинге, лакированных  
туфлях, однако растерзанный — видно,  
после драки с кем-то.

...Потом он читал «Черного человека».  
Во время чтения схватился неуверенно  
(так как был пьян) за этажерку, и она  
упала.

До этого я «Черного человека» не слы-  
шал.

...Это было прекрасно. И он был необы-  
чайным и растерзанным, пьяным,  
злой, золотоволосый, и в кровоподтеках  
после драки.

Юрий Олеши

...Он встал, прислонился к притолоке,  
полуживой свои вдруг помутневшие глаза  
смертельно раненого человека, может  
быть, даже животного — оленя, — и своим  
особым, насаженным, со странным ак-  
центом голосом произнес:

То ли ветер свистит над пустынь и  
безлюдным полем, то ль, как рошу в сен-  
тибры, оспает мозги алкоголь. Голова  
моя машет ушами, как крыльями птицы.  
Ей на шее ноги маячат больше невмочь.  
Черный человек, черный, черный, черный  
человек на кровать ко мне садится, чер-  
ный человек спать не дает мне всю ночь.

Валентин Катаев

Странно — впрочем, не для Есенина, у  
кого трагедия живет о бок с надеждой, даже  
легкомыслием, — но «Черный человек», са-  
мое бесцельное из его произведений, за-  
ставляет вспомнить строки забавные. О  
мальчике, ковыряющем в носу: «Ковыряй,  
ковыряй, мой милый, суй туда палец весь,  
только вот с эфтой силой в душу свою не  
лезь». Совет шуточный, но выстраданный, и  
страдание никакой шуткой не прикроешь,  
даже той, что заключена в строчках, иду-  
щих следом: «Я собираю пробы — душу  
мою затыкать». Поздно — истыкана, изра-  
нена, не только бесцеремонными пальцами  
посторонних, но и самим собою.

Черный человек, двойник — образ из са-  
мых традиционных в поэзии.

На память мгновенно приходит: ну, разу-  
меется, Пушкин, у кого черный человек  
смущает душу Моцарта. Блок, повстречав-  
ший «старшего юношу»: «Быть может,  
себя самого я встретил на гряди зеркаль-  
ной?» Гейне: «Двойник! Ты — призрак! Иль  
не довольно ломаться в муках тех стра-  
стей?» И все они образуют контраст есе-  
нинской поэме, выявляют ее своеобразие.  
Да, Гейне и Блок узнают в двойниках са-  
мих себя, как и Есенин воспроизвел в своем  
«прескверном госте» собственную душу и  
биографию, вплоть до узнаваемых переи-  
птий («...И какую-то женщину, сорока с  
лишним лет, называл скверной девочкой и  
своею милой»), — но предостереженники гля-  
дят со стороны, находят поодаль. У Пуш-  
кина черный человек вовсе фигура матери-  
альная, как было и на деле (но пришло к  
Моцарту, чтоб заказать ему «Реквием»; по-  
сланец некоего великожи). А Есенин...  
Впрочем, стоп! Есть в русской словесности  
нечто очень и очень похожее — говорю о  
дневниковой записи Константина Батюш-  
кова, говорящей, что в нем сосуществуют два  
человека, белый и черный. «Оба живут в  
одном теле... Белый человек спасает чер-  
ного слезами перед Творцом, слезами живого  
раскаяния и добрыми поступками перед  
людьми...» Заметим: это писано поэтом, чей  
светлый разум вскоре поглотили и наслед-  
ственная душевная болезнь до конца жизни  
свергнет его в черную тьму.

Черный человек Есенина, разумеется, ни-  
что не материален — не то что моцартов-  
ский визитер. Он, являясь двойником поэта,  
отражаясь, как у Блока, в зеркале, по-ей-  
наксясь повторять его жесты, от него ни в ко-  
ем случае не отдален. Не отдален. Куда  
там! Он — не раздвоенность, как у Батюш-  
кова, а двоянность, умножение болезнев  
точек, совесть, занятая самообличием:  
«Черный человек глядит на меня в упор. И  
глаза покрываются голубой бевотой», —  
словно хочет сказать мне, что я жулик и  
вор, так бесстыдно и нагло обокрававший ко-  
го-то? Слово хочет сказать — то есть и  
говорит неизбежно: Есенин сам все  
способен сказать за «гостя». И — вот уже  
окончательное расхождение с Батюшковым:  
там белый спасает черного, здесь черный  
всеравен, со стороны поэта нет даже и  
попытки самооправдания. Не потому, что  
велик грех, а потому, что огромен счет — к  
миру, к себе самому.

В сущности, «Черный человек» — это  
уже акт самоубийства, совершенный пока  
что в слове. Это приговор самому себе, это  
(вспомним опять размышления Пастернака)  
отказ от воспоминаний, то есть от прошло-  
го, от себя, от жизни.

Надрыз? О да — и в буквальной  
смысле. Есенин надорвался. Причин его  
расчетов с жизнью сколько угодно: и утра-  
та родного уклада («Вот сдвинули за шею  
деревню каменные руки шоссей» — заметил,  
сдвинули, слово удавочки!), и разочарова-  
ние во власти, и т. д., и т. п. Включая, конечно,  
алкоголизм, но, как сказал один негугный и  
ныне охавший человек — Чернышевский,  
может, слышали? — поэт Байрон пьет и  
спивается все-таки не по той же причине,  
что сапожник по мастеровье.

Как ни странно это прозвучит (тем более  
в нашей действительности, где столько рас-  
стрельных и лагерных судеб), поэт сам вы-  
бирает свою судьбу. Действительность —  
не выбирает, а судьбу — да. «Вы себя бе-  
рете за руку и ведете на казнь», — было  
сказано Мандельштаму усталым собе-  
седником, но то же можно сказать о Есени-  
не. Не то чтобы у него не было попытки —  
конечно, не приспособиться, однако по-  
верить тому, во что хотелось верить, вос-  
петь то, что требовалось воспевать, но даже  
и тут было сказано с опасной откровенно-  
стью: «Отдам всю душу октябрь и маю, но  
по Пушкинскому слову, тут неразделенность  
«душу в заветной лире».

Есенин — это не только дивные стихи; он  
— да, да, повторю, и такой, и такой — еще  
и образец нравственной неуступчивости.  
Того, что отнюдь не помогает физически  
выжить. «Берегите нас, поэтов...» — эти  
слова из эпиграфа потому так и важны, что  
сами поэты себя не берегут.

# РОКОВАЯ ПЕЧАТЬ

Как ни парадоксально, но именно тех поэтов,  
которых больше всего знаем и любим, мы подчас  
меньше всего понимаем. Впрочем, парадокса нет:  
употребляя банальнейшее сравнение, мы меньше  
всего думаем о воздухе, которым дышим, — до той  
самой поры, пока нам хватает озона.  
Есенин — как воздух, и слава Богу, что теперь даже  
трудно представить, как еще на памяти старших  
поколений это имя было практически под запретом,  
и его, как воздух, откачивали из нашей культурной  
среды. Но именно потому, что без поэзии Есенина  
мы не мыслим себя и Россию, мы не часто  
задумываемся над загадкой его обаяния и загадкой  
его гибели... Что до последней, здесь как раз  
слишком много поверхностных домыслов, которые и  
сейчас, в дни юбилея, сеет наше ТВ.  
«Век» отмечает есенинскую дату попыткой  
проникнуть в секрет неповторимой прелести поэта и  
заодно производит как бы опыт частного  
расследования действительных причин его гибели.

вот что вышло из-под пера, еще не зна-  
ющего, что скоро оно — кровью — выведет  
в постиние «Англетер» предсмертные стро-  
ки. Вот что написано всего за пять месяцев  
до смерти: «Видно, так заведено навеки —  
к тридцати годам перебесечь, все сильней,  
прожженные калек, с жизнью мы удержи-  
ваем связь». И — немногим раньше в сти-  
хах, где Есенин меряется славою с Пуш-  
киным: «А, обреченный на тоненьке, еще я  
дожду буду петь...» Вот оно как! Гонение,  
отчетливо сознаваемое, неотступное, неиз-  
бежное («как и ты — я, отсюда гоним-  
ный...»), — даже оно не мешает уверенно-  
сти или по крайней мере надежде, что петь  
ему предстоит долго. И если речь все же  
зайдет о смерти, то, ей-богу, никак не сер-  
ьезней, чем в юношеских стихах Цветаевой.  
Не трагически, а — радостно. Там просьба:  
«Дай мне смерть в семнадцатый лет» —  
только подчеркивала, каким сказочным бы-  
ло детство, увя, уходящее. Здесь же: «Я  
умер бы сейчас от счастья, сподобившись  
такой судьбы», то есть пушкинской судь-  
бы, пушкинской славы, от которых счастливо  
кружится честолобная голова.

Странно? Или — естественно для Есени-  
на?

В первый раз я его встретил в лаптях и  
в рубаше с какими-то вышивками крестика-  
ми... Он мне показался опереточным,  
буффонским. Тем более что он уже пи-  
сал нравящиеся стихи и, очевидно, рубил  
на сапоги нашились бы.

Как человек, уже в свое время относив-  
ший и отставивший желтую кофту, я де-  
ловито осведомился относительно одежды:  
— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, ка-  
ким заговорили бы, должно быть, ожив-  
шие лампадные масла.

Что-то вроде:  
— Мы деревенские, мы этого васшего не  
понимаем... мы уж как-нибудь... по-наше-  
му... в исконной, посконной...  
Его очень способные и очень деревен-  
ские стихи нам, футуристам, конечно, бы-  
ли враждебны.

Но малый он был как будто смешной и  
милый.

Уходя, я сказал ему на всякий случай:  
— Пари держу, что вы все эти лапти да  
петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убежденной горяч-  
ностью.

...Я его встретил уже после революции  
у Горького. Я сразу со всей врожденной  
неделикатностью заорал:

— Отдавайте пари, Есенин, на вас и  
пиджак и галстук!

Есенин озлился и пошел задирается.

Владимир Маяковский

Вообще-то Маяковский, конечно, прав,  
говоря о буффонском облике молоденького  
Есенина, и злился тот зря. Тем более —  
что такое буффония? «Предметы театраль-  
ной обстановки», — сухо объясняет сло-  
варь, и, разумеется, есенинские петушки-  
гребешки, тальянки и балаалайки были теат-  
ром. Игрой — для окружающих и для себя

также, прямо скажем, не ходоком для двад-  
цатого века головным уборе, — вот именно  
буффония. Художник Юрий Анненков,  
знаменитый иллюстратор «Двенадцати»  
Блока, рассказывал: как то ли в 1914-м, то  
ли в 1915-м году, будучи у него в гостях,  
Есенин, наряженный соответствующим об-  
разом, ухаживал за анненковской горнич-  
ной. Причем говорил с ней «такой изощрен-  
ной фольклорной рязанской (а может быть,  
и вовсе не рязанской, а ремизовской) ре-  
чью, что, ничего не понимая, Настя, называв-  
шая его, несмотря на козловоротку, «бары-  
ню», хихикнув, убежала в кухню». Да, уже  
в юности Есенин был литератором до мозга  
костей, знавшим толк в словесной игре, и  
если действительно говорил с горничной  
Настей по-рязански, то с такой стужебно-  
стью и картинностью лексики, которая де-  
лала его речь «ремизовской»: имела в виду  
Алексей Ремизов, великий мастер стилиза-  
ции. А много позже, в эпоху цилиндра и ла-  
ковых шпильте, Есенин и вовсе откровенно  
обнажил театральную природу своих ко-  
стюмных фантазий: «Я хожу в цилиндре не  
для женщин — в глупой страсти сердце  
жить не в силе, — в нем удобней, грусть  
свою уменьшишь, золото оно давать кобы-  
ле... Так мы ему и поверили, что фатоват-  
ный цилиндр — наилучшая замена торбе с  
овсом!»

«Есенин к жизни своей отнесся как к  
сказке», — писал Пастернак. — Он Иван-  
царевичем на сером волке перелетел океан  
и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседо-  
ру Дункан. Он и стихи свои писал сказоч-  
ными способами, то, как из карт, расклады-  
вая пасьянсы из слов, то записывая их кро-  
вью сердца». Да, именно сказка или, снова  
и снова скажу, игра — то в инко, то даже  
в скандальности и хулигане, как на реальных  
были его алкогольные экскалады в быту. Это  
спровоождало Есенина всю жизнь, не оста-  
вив и в самой смерти. Пресловутая «кровь  
сердца», на сей раз буквальный, насчет ко-  
торой мрачно пошутил все тот же Маяков-  
ский: «Может, оказался чернила в «Англете-  
ре», вены резать не было б причины», — и  
та разне не стала последним проявлением  
необычного мальчишества?

Есенина невозможно представить стари-  
ком — впрочем, как и Блока, и Маяковско-  
го, но к тому же ему не по характеру ни  
блуждающая величавость, ни государственная  
поступь «Владимир Владимирович». К его облику  
— при всем его трагизме судьбы — вообще  
как-то очень подходит веселые легенды,  
вроде тех, что рассказывает Валентин Ка-  
таев в мифоманной книге «Алмазный на  
венец», или... Да вот хотя бы из «Заповед-  
ника» Сергея Довлатова, то есть история,  
случившаяся много после смерти поэта, как  
бы продолжающая его легендарность. Пове-  
ствую о своих полукровных приключениях  
в роли экскурсовода по Пушкинским Го-  
рам, Довлатов пишет: однажды, ввечая да  
верчивым экскурсантам, что «поэт то и де-  
ло обращался к явне в стихах», посвятив ей  
«такое, например, задушевные строки», он  
скак, например, как читает стихи — да,  
задушевные, но уж никак не пушкин-  
ские: «Ты жива еще, моя старушка!..» Но:

ведь заблуждение, будто поэт гармониче-  
ского склада, доверчиво желающий миру  
добра, полный надежды сделать этот мир  
лучше, — будто он обеспечен их встречным  
доброжелательством. К несчастью, как пра-  
вило, наоборот.

Мы не имеем понятия о сердечном терза-  
нии, предшествующем самоубийству. Под  
физической пыткой на дыбе ежеми-  
нноту теряют сознание, муки истязания  
так велики, что сами невыносимостью  
своей близят конец. Но человек, подверг-  
нутый палаческой расправе, еще не уни-  
тожен, впадая в беспамятство от боли, он  
присутствует при своем конце, его про-  
шлое принадлежит ему, его воспоминания  
при нем, и если он захочет, может вос-  
пользоваться ими, перед смертью они мо-  
гут помочь ему.

Приходя к мысли о самоубийстве, став-  
ляя крест на себе, отворачиваются от  
прошлого, объявляют себя банкротами, а  
свои воспоминания недействительными.  
Эти воспоминания уже не могут дотянуть-  
ся до человека, спасти и поддержать его.  
...Мне кажется, Маяковский застрелил-  
ся из гордости, оттого, что он осудил что-  
то в себе или около себя, с чем не мог  
мириться его самолюбие. Есенин поспеш-  
ил, толком не вдумавшись в последствия и  
в глубине души полагая: как знать, может  
быть, это еще не конец и, не ровен час,  
бабушка еще найдется гадала.

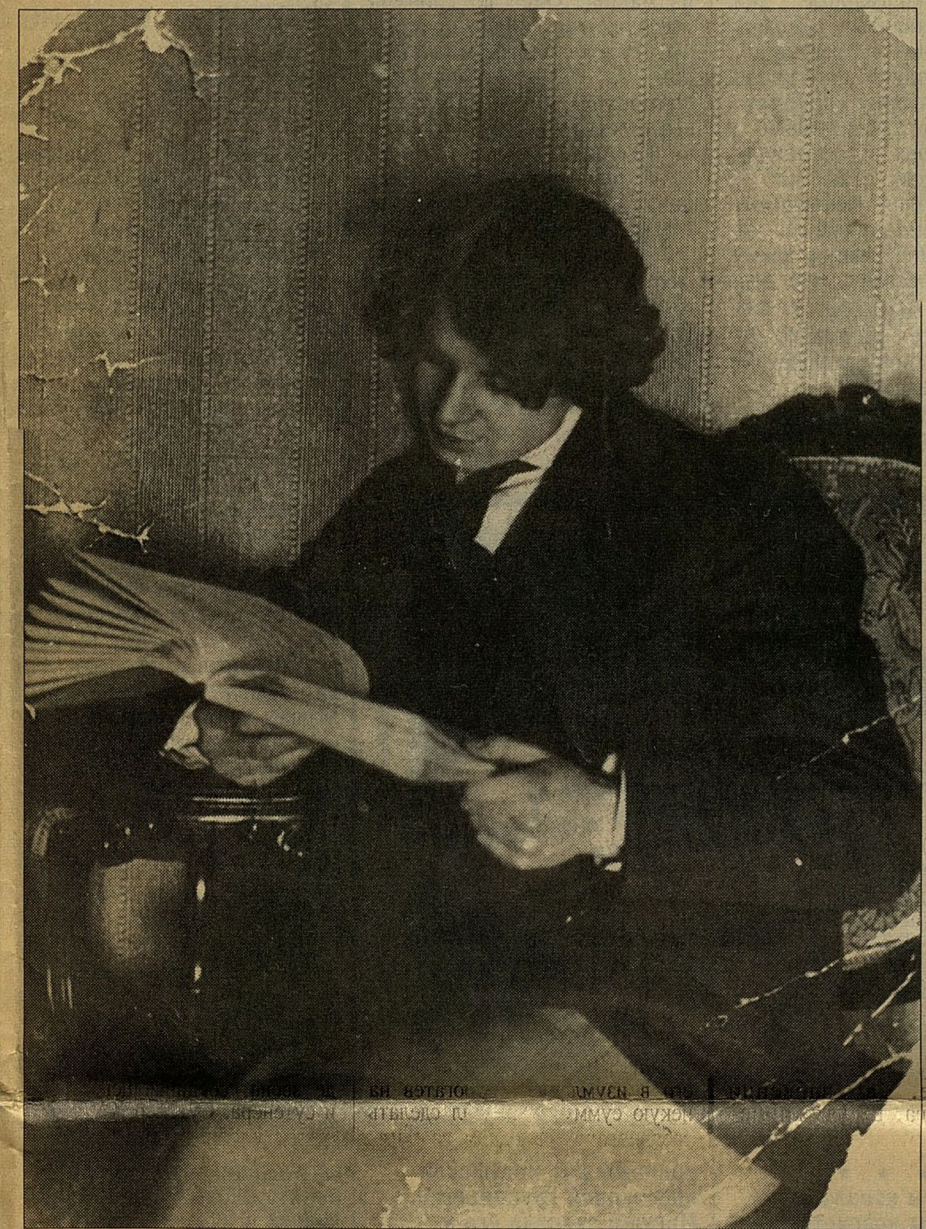
...Но все они мучились неопишимо, му-  
чилились в той степени, когда чувство тоски  
уже является душевною болезнью. И по-  
мимо их таланта и светлой памяти участ-  
ливо склонился также перед их страдания-  
ем.

Борис Пастернак

Итак: «...Объявляют свои воспоминания  
недействительными». Но это словно подслу-  
шано у Есенина, сказавшего за год до са-  
моубийства: «А я, стубивший молодость  
свою, воспоминаний даже не имею».

Кратко, как диагноз.

У одного нынешнего стихотворца есть  
строки, почти престелные в своей простоду-  
шной мании величия: «Да, жив Данте». Он  
жив опасно. Жив до сегодняшнего дня.  
Ежеминутно, ежечасно он может выстрел-  
ить в меня». Смешно. Но мы не очен-то  
заслужили право смеяться, потому что в  
жажде дилетантских сенсаций все время  
ищем Дантесов, как раньше искали вреди-  
телей и шпионов; норовим наивно персона-  
лизировать убийную силу целого общества,  
государства, миропорядка — схватить за  
шкродливую руку и выволочь на свет, ска-  
жем, масона или иного супостата. Уж на  
что очевидна история гибели Маяковского,  
что то наш телезудный Молчанов пове-  
дает, что его-де убили, то авангардист-ли-  
тератор Кедров уверит, что поэта вели к  
самоубийству, травя психотропными препара-  
татами: мол, не зря его квартира кишела  
чекистами (даром, что Маяковский их сам  
завлекал). Даже смерть Блока Владимир  
Солоухин как-то объявил насильственной  
— что ж говорить о Есенине? Сколько было



Сергей Есенин